



НИКОЛАЙ ЗЛАТОВРАТСКИЙ

КРЕСТЬЯНЕ-ПРИСЯЖНЫЕ

Николай Златовратский
Крестьяне-присяжные

«Public Domain»

1874

Златовратский Н. Н.

Крестьяне-присяжные / Н. Н. Златовратский — «Public Domain»,
1874

Повесть написана в 1874—1875 годах.

Содержание

Глава первая	5
I	5
II	10
III	14
IV	16
V	18
VI	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Николай Николаевич Златовратский

Крестьяне-присяжные

Глава первая По пути в округу

I Напутствие

К началу ноября пришла очередь выставить присяжных в «округу» – так у нас называют окружной суд и вместе губернский город, – за подгородными волостями уездного городка П., лежащего в Палестине, омываемой водами Оки и ее притоков. В их числе была и Пеньковская, от которой на этот раз «в череду» значились: Лука Трофимов – мужик обстоятельный, уже раз бывший присяжным, значит, в таком деле советчик первый, Петр Спиридонов да Савва Прокопов, Еремей Петров да Еремей Горшков – народ все хозяйственный и в летах умеренных; из стариков только один и попал Фомушка, да и то занесли его в очередные списки в последний раз, по нужде, за сына: избу сыну нужно править, лес возить, погорели они несчастным делом. Потом значились: Дорофей Бычков, мужик базарный, ловкий и Петр Недоуздок, крестьянин «правильный», богобоязненный и даже состоявший в недавнее время сотским.

Приказали на Михайлов день собираться. Порешил мир на сходе: считать по три пятака на брата в день. На подводы не полагается, потому до своего города можно пешком дойти, а там по шоссе – как ни то со Христом, а где и с обозами, при случае. А лошади дома нужны лес возить, да и содержание их в городе дорого стоит.

В Михайлов день очередные собрались в волостное правление, совсем снарядившись в путь: мешки за спины подвязали, в них бабы по обменке положили, по рубахе да по портам, и потискали ржанных кокурок на сметане; к мешкам пристегнули лапти и сапоги, по паре.

– Ну, братцы, пора уж... Неравно поторапливайтесь. Беда, слышь, запоздать. Штрафы берут, такие штрафы, что и казны всей нашей не хватит. Вот что! – говорил старшина. – Вы не смотрите на шабринских: они на подводах едут. Вишь, их Гарькины везут всех гуртом на фабричных конях!

– За что ж бы это они их ублажают, Парфен Силыч? – любопытствовал Недоуздок.

– Ну, уж это кто их знает. Не наше это, почтенные, дело... Да и вам мой приказ: коли что ежели и прознаете, так молчок. Наше, мол, дело сторона.

– Знамо, сторона... Мы по себе.

– Наше дело молчок. Так-то-сь! А то там, в округе, народ до всего дошлый... Обчество, братцы, берегите, чтоб за вас ответу не было.

– Как можно обчество!.. Ежели что – нас же накажете.

– Это так, к слову... Да еще присмотр за собой ежечасно имейте, оглядку вокруг себя... Ты, Лука, знаешь... Потому будете там у всех начеку, а народ там тонкий, во всем будет от вас ответа ждать. И чтоб нам, почтенные, ни против людей, ниже против господ дураками себя не оказать.

– Зачем дураками оказываться!

– Да еще, господи сохрани, не прохарчитесь как ни то на винище на подлое... Сдерживайтесь как можно. Деньги у нас, братцы, не очень вольные.

– Зачем баловаться!

– А то как бы нам с вами, судьями, после не поссориться. Да и еще приказ: коли ежели где в трактире али в харчевне будете, всего наипаче старайтесь молчать и ни с кем, а более с приказными да ходоками, зубы не точить.

– Слушаем, Парфен Силыч.

– Ну, и господи благослови! – сказал старшина и, встав, перекрестился.

– Благослови царь небесный, – ответили пеньковцы и тоже покрестились.

– Ну, вы, судьи, получай свои-то паспорта! – крикнул писарь и роздал повестки.

– А чем не судьи, Хрисанф Потапыч?

– Лапотники первый сорт! Лыком шиты!

– Годи мало: сапоги сошьем, не ты один в сапогах ходить будешь.

– Того и жди. С нас снимете да себе наденете. Кто у вас артельный?

– Лука артельный у нас. Он ходил в череду, знает порядки.

– На вот, получай; ты принимаешь – на тебе и спрос будет.

Лука Трофимыч принял харчевые деньги, собрал повестки и вместе на груди в кошель завязал.

– С богом! А ты, Лука, посматривай за Недоуздом-то! – крикнул им вслед старшина. – Попужайте его там, братцы, судьбищем-то... А коли что, так мы его после и лозой – судью-то!

Что же это за «юридические лица» были все эти Луки, Петры, Еремеи, которых еще можно лозой вспрыскивать? Все они были, прежде всего, трудолюбивые землепашцы, принадлежали к тому великорусскому типу, который отличается крупными чертами лица, ростом более среднего, шагистою и несколько развалистою походкой, серыми или бледно-голубыми глазами и белесовато-рыжими (двушерстными) бородами. Все они большие любители говорить и слушать разные сентенции, вроде того, например, что «мужику баловаться нельзя; мужика за баловство знаешь, как надо... Мужик – что бык...». Все они более легковверные художники, чем строгие мыслители, и хотя, прежде чем на что-нибудь решиться или решить какое-нибудь дело, долго носятся с ним, думают, исследуют со всех сторон, но вдруг, утомившись, бросают все свои длинные подготовительные изыскания и произносят решение, иногда совершенно противоположное всем добытым предварительными изысканиями результатам, но зато согласное с их душевным настроением. Они впечатлительны; в них заметна склонность решать дела «по душе», а не по хитросплетенным измышлениям. Все это кладет на их характер печать добродушия. Эти общие свойства прилагались к нашим пеньковцам в разнообразных степенях: в одном преобладает долгая упорная вдумчивость – «семь раз примерь»; другим, напротив, овладевает всецело вдохновение, и он живет «наитием минуты». Первый, по понятиям пеньковцев, будет считаться «мужиком основательным, правильным», второй – «неосновательным». Лука Трофимыч известен всем за самого основательного или, иначе, «обстоятельного» мужика. На печь он никогда не завалится, не увлечется ни делом, ни бездельем; все у него идет ровно: есть дело – он делает его не торопясь, основательно, толково, нет дела – он ходит с топором вокруг избы, в огороде – там стукнет, тут потешет, в другом месте скрепит. И везде у него крепко, плотно. Посторонним влияниям поддается он туго, осторожен, даже недоверчив; ходит в высокой шляпе грешневиком. Но при всем том с этим же Лукой Трофимычем случилось раз такое дело: облюбовал он сруб избыной; долго всматривался в него, долго уговаривался с владельцем; казалось, взвесил все, обдумал – и дело приходило к концу. Но тут кто-то, по дороге в город, заехал к нему в гости и, между прочим, заметил, что он бы, пожалуй, продал «хорошему человеку» и лошадь, и упряжь, и телегу. «А что? Пожалуй бы, я и купил, – сказал Лука Трофимыч. – Хоша мне и не очень нужно, да конь приглянулся, и человек-то ты хороший». Через десять минут Лука Трофимыч выложил половину денег, назначенных на сруб, а о нем и не вспомнил. Потом сам же добродушно подсмеивался и над собой, и над владельцем сруба: «Да вот поди ж ты, братец... кто знал? Вот мы полгода, почитай, с тобой сговаривались, а дело-то как вышло»... Но это нисколько не мешало Луке Трофимычу считаться мужиком

основательным. Недоуздок – другое дело. Мужик он из наших пеньковских очередных самый младший: ему лет тридцать с небольшим. Мужики говорили, что и самое «обличив» показывало в нем «необстоятельного» мужика: у него русая, кудрявая, окладистая борода, широкий, открытый и вечно улыбающийся рот, постоянно показывающий белые здоровые зубы; маленькие смеющиеся серые глаза; на русых, кудрявившихся, под скобку, волосах носит он картуз, который лежит на них, как на форме. Идет «обстоятельный» мужик, задумчивый, сердитый, повеся длинную бороду, посмотрит на Недоуздка и не утерпит, чтоб не сорвать: «Ну, чего оскоряешься? Чего любо?» И Недоуздок тут и разольется над ним самым добродушным хохотом, хотя он прежде и не думал смеяться. Репутацию «необстоятельного» получил Недоуздок за свою впечатлительную и порывистую натуру и действительную «необстоятельность» своего характера. Как-то уж совсем он жил «под наитием». Парнем он был самый веселый, самый разбитной малый: ни один вечер, хоровод, посидки, свадьба не обходились без него; его всегда приглашали в дружки, так как никто не умел заразить всех таким добродушным весельем. «И рожа-то у него, что у скомороха», – говорили обстоятельные мужики. А скоморох, когда ему минул девятнадцатый год, встретился с одним купцом. Купец этот был полуидиот, полуаскет, постоянно ходил в церковь, ставил свечи, крепко стучал лбом в кирпичный пол; на суставах пальцев на руках и на коленях образовались у него большие мозолистые наросты от поклонов. Это поразило Недоуздка, он сошелся с ним – и скоро нельзя было узнать парня; бросил пирушки, девок, хороводы, даже свою возлюбленную, которая с отчаяния скоро сошлась с другим, и стал «церковником»: читал псалтирь, звонил в колокола, целовал у попа руку и раздувал кадило; стал поститься, много молиться. Купец собирался идти в монастырь, и Недоуздок собирался «посвятить себя богу». Купец действительно ушел в монастырь, а Недоуздок сейчас же после этого вернулся к пирушкам, к хороводам и как ни в чем не бывало потребовал своих прав: и от свадеб, и от сверстников, и даже от своей возлюбленной, которую принудил выйти за себя замуж, отчего и устроил не очень красивую семейную жизнь. Он не мог себе представить, почему она его могла разлюбить. У них поначалу шли с женой такие разговоры: «Ориша, – скажет Петр, – подь сюды... Сядь... Ну, ведь ты врешь, что ты меня разлюбила? А? Врешь ведь?» – «Мне что-ка! – запекает Ориша. – Все одно: ты мне муж». – «У, дура! Поди прочь!» Он стал мечтать, как бы ему жениться на другой, а эту жену отдать своему сопернику, допрашивался, нет ли таких подходящих законов, но их не оказалось. «Умрет, тогда женись, – говорили ему, – вот тебе и все законы, – располагайся». Но Петр не хотел смерти жены. Впрочем, мало ли что могло случиться «под наитием» и что могла наделать поселившаяся в голове мысль. Он мечтал уйти куда-нибудь, взять у старосты свидетельство, что жена умерла, и жениться на другой и пр. Но тут дела повернулись неожиданно: кто-то сказал ему, что житье на фабриках веселое и привольное. Он, не долго думая, бросил хозяйство, жену и ушел. Мотался по фабрикам года два; шлялся по кабакам, играл на балалайке, пил, плясал трепака. Он забыл о жене, та – о нем. Она оказалась ловкою бабой: забрала хозяйство в руки, взяла батрака и вместе с ним «подымала» землю. Но вдруг пришел Петр и потребовал признания всех своих на время отчужденных прав, – «к закону вернулся», – как говорили мужики, сделался степенным, рассудительным, хозяйственным мужиком. Только свои и знали, как он заставлял и жену «вернуться к закону».

Лука Трофимыч и Недоуздок шли впереди. За ними следовали прочие «хозяйственные и правильные мужики». Только Фомушка (по списку Фома Фомин), это воплощенное смирение, плелся сзади всех.

Шли присяжные бойким и частым шагом, молча. Верст за пять от волости сиверком понесло с полей. Дорогу стало замечать, словно мучною пылью, мелким снегом. За полушубки, за воротники пробивала стужа к телу. Пройдя верст семь, путники остановились.

– Ишь ты как, братцы, замечает. Того и жди, что разыграется...

– Вьюжит... Кафтанишка-то, парни, у меня не очень чтоб хорошо приспособлен. Дырявит! – печалился Фомушка.

– Когда б засветло в слободу поспеть.

– Где поспеть? Сугробно.

– На печь бы, братцы, важно теперь али бы на полати забраться, – мечтал Недоуздок. – А то, глянь, какая подымается мятлица. Неровно закочeneешь. Валенки-то, вишь они, поистерлись. Хорошие-то жене покинул. Жалко стало, – истаскаю, думаю.

– Все мы тоже не очень чтоб в какие заморские меха-то разодеты. Эк ведь господь наслал за грехи наши. Хоть бы пообождать денек-другой.

– Нельзя. У судей все по строкам.

– И то. Не застаивайся, братцы. Нехорошо в экую божью волю.

Присяжные обернули головы платками и опять бойко двинулись вперед.

Снега наносило все больше и больше. Хотя времени было еще немного, но становилось заметно темнее. Лес вдаль зачернел. По ветру волчий вой донесся. Влево стали показываться едва заметные придорожные елки.

– Вон путина-то. Способней теперь будет идти-то. Тракт многоезжий, – заметил кто-то.

По большой почтовой дороге идти стало легче; но и она была пустынна: никто не обгонял их. Вот кто-то где-то свистнул. На свисток еще ответили. Присяжные пошли уже не гусем, а кучей.

– Это он балуется. Любит он экую пору, – заметил один Еремей.

– Нет, это не он. Это овражники, – сказал Лука Трофимыч.

– Много, слышь, их здесь.

– Много, фабрики все кругом. Народ баловень... Народ отябель кругом их селится. Днем-то их не видать, а вот по ночам так знатно закучивают. По слободе у них как ночь, так и пойдет гульба. Позапрошлым годом такого молодца мы судили. Рассказал всего. Много, говорит, нас. Другой раз, говорит, на фабрике-то месяца по два расчета не дают, а то без муки сидим. Ну, и собираемся в слободу. А там есть коноводы такие: сейчас это тебе водки дадут на голодное-то брюхо. И денег предложат, только, говорят, по ночам на дорогу выходи. И идем, говорит, – кто в сигнальщики, кто в досмотрщики, кто в передатчики...

В это время кто-то промчался верхом, обогнал их, круто осадил лошадь, оглянул молча, свистнул и, обернувшись назад, скрылся в кустарник.

– Это, должно, из них, – досмотрщик.

– Они нас не тронут, – заметил Недоуздок.

– Что так?

– Не тронут. Мы судьи.

– А почему им знать?

– Как не знать! Кто в эту пору из пешеходов гурьбой ходит, кроме нас! Богомолы по зимам не ходят; на заработки тоже не ходят, а коли ходят, так в экую пору по своей воле не пойдут – не срочные.

– Это так. А что ж бы им нас и не тронуть? Разве они нас боятся?

– Судей бояться им нечего. Нет, они судей не боятся, потому – что им судьи? Они стого боятся. Ну, а все же судью ублажить им чем ни то нужно. С судьей ему, гляди, прилучится встретиться. Нехорошо, по совести, судью обижать.

– Нет, они нашего брата не обижают, – подтвердил Лука Трофимыч. – Рассказывал тот парень: нам, говорит, понапрасну людей обижать непочто, мы сами по горькой нужде идем. А там, говорит, как пустят фабрику в ход, заработки, харчи выдадут, – мы и опять работать... Плачет паренек-то, говорит: я было в покаянье пришел, – очень уж, вишь ты, душа-то стала тосковать от такого беспутства, – а они ж меня, дурака, и выдали.

– Дурака! А их не поймают, выходит, умников-то?

- На то он и умник... Умник-то в лисьей шубе ходит.
- Ну, и что ж, Лука, вы этого парня?..
- Оправдали... О господи, господи! – вздохнул Лука и помолчал. – А гляньте-ка, ребята, – огни! Это в слободе!
- Это волки!
- Где волки! Вишь вон, и колокольня мерещится будто...
- Поддай, братцы, ходу, – крикнул Недоуздок, – печка близко! Здорово знобит! Присяжные прибавили шаг. Слобода была близко.

II

Присяжные на ночлеге

Наступила ночь. В слободе уездного города П. кое-где мелькали сквозь занесенные снегом окна мутные огни. Где-то выла собака. С одного постоялого двора по снегу бегали через улицу из-под подворотни длинные тени и лучи: кто-то ходил по двору с фонарем. Слышно фыркание лошадей.

– Осторожней с огнем-то... вы! – кричали из глубины двора.

– Мы осторожны... не впервой.

– То-то. Полуношники. Сожжете, – с вас взыски-то какие!

– Ну, не очень важны хоромы-то... Може, выплатим старыми лаптями...

– О, гужееды-зубоскалы! Сами бы нажили... Век изжили в одних портках, так не знаете, каково она, нажива-то, дается.

Присяжные, все занесенные снегом, подошли через сугроб к воротам и стукнули железным кольцом.

– Кого там еще в экую ночь носит?

– Ночевать бы, – откликнулись присяжные.

– Эко ночевальщики какие проявились! – огрызнулся голос со двора. – Куда это ветер гонит?

– В округу.

– Пешие, чай?

– Пешковые мы.

– Проходите дальше... Проходите... Местов у нас нет... Какие такие с вас барыши?... Проходите в харчевню.

– Полно-се, ты, старый! Уймись! Загрызла тебя корысть-то! – крикнул женский голос из избы. – Куда их гонишь в экую погоду? Где они будут харчевню искать теперь?

– Ну, умны стали, – проворчал кто-то и стукнул дверью.

– Много ли вас? – спрашивал тот же женский голос за калиткой.

– Восьмеро.

– Много. Тесно будет... Экое дело!.. Возчики еще у нас стали, порожняки... Разве потеснятся.

– Мы потеснимся. Не важно привыкли спать! – откликнулись голоса со двора. – Пущай!

– Ступайте, родимые, ступайте... Да снег-то отряхните на воле. Намочите, – говорила женщина, отворяя калитку.

Присяжные вошли в избу, в которой по лавкам укладывались возчики; они, видно, только что поужинали. Работница собирала со стола посуду.

– Раздевайтесь, родные, – говорила, входя, хозяйка, – посушитесь, а вы, возчики, потеснились бы.

– А кто будете? – спросили возчики.

– Чередные будем.

– Присяжные?

– Они самые.

– Ну, ну, грейтесь... Места будет... Всем хватит. С печи слышалось ворчанье:

– Эка напустили побиральцев... Гольтяпы – какая орава.

– Полно, уймись...

– Спи, старичок, со христом; мы не обидим.

– Паужинать что будете? – спросила хозяйка, полная, с грудью-козырем, расторопная баба.

– Нету. У нас деревенское есть. Кокурками бабьими побалуемся. Тоже бабы наделили как быть, – любят.

– А то поели бы. Щи вот остались. Я ничего не возьму. Знамо, люди из повинности. В городе тоже, поди, четырнадцать дён прожить придется. Изъянно.

– Харчевито.

– Харчевито – что говорить! Похлебайте.

– Приживальщики! – ворчал голос с печи.

– Вот оно у меня, дитятко-то, – заметила баба. – Правду говорят, что малый, что старый – все одно.

– Мы, коли что, поплатимся за щи-то. Наливай. Знатно оно, с морозу-то. Зябко было.

– Как не зябко! Погрейтесь. Работница поставила щи на стол.

– Где у нас гроза-то! Ай унялась? – спрашивали вошедшие со двора с фонарем возчики.

– На печке гроза-то. Оттуда гремит, – отвечала хозяйка.

– Ну, ну! Гремит еще? Грозен.

– Хозяин будет? – обратились присяжные к хозяйке, кивая на печку и залезая за стол.

– Нету. Отец. Блажной – не приведи господи...

– Нехорош стал отец – в гроб пора. Нажил добра – теперь довольно! – ворчал старик.

– Вот он на вас, на судей, больно сердит.

– Ой? Что так?

– Да вот года три тому назад штрафовали его. Тоже вот в череду был: повесткой вызывали. «Куды, говорит, еще в город ехать?... Какой такой суд с мужиками – что за мода? Брось, вишь, хозяйство да судить ступай. Мало там их, приказных-то? Модники! Какой, говорит, я такой судья-мужик? Народу только баловство. Вору-то на смех подымут...» Ну, и не ходил; двадцатипятирублевкой штрафовали. С того и сердит... А хозяин мой тоже в череду. С вами, мотри, будет. Уехал позавчера.

– Мотри, с нами будет.

– Так думать нужно. Что поделаешь? Ваше дело подневольное. Убыточно оно, точно... да, толкуют, для души хорошо. Вы как?

– Это об чем?

– А вот говорят: для бога очень хорошо, для души. Из вас кто был ли в череду-то?

– Были, – откликнулся Лука Трофимыч.

– О! Так скажи-ка ты мне об этом. Уж я и буду спокойна.

– Это об душе-то тебе сказывать?

– Да, да... Об ней-то ты мне сказывай. Хозяин, признаться, тоже не хотел ехать, да поговорил. На этом и согласился. А то говорит: «Боюсь я, – говорит, – баба, этого самого суда». Да чего, мол, тут, Спиридон Иваныч, бояться? Не ты один. «Так-то так, – говорит, – а все же как это подумаешь, так тебя будто в зноб бросит... Перцовки, – говорит, – коли неравно что, перед судьбищем-то выпью».

– Это так, так, – заметил один из возчиков, – по себе знаю, помогает чудесно. Я ее, перцовку-то, во как уважаю. Однажды настудился я. В зажору, братцы, попал совсем, и с возом. Так думал: «Ну, больше, мол, Петруха, не жилец ты...» А еще оженился недавно только. Жалко было бабу... Да перцовки, братцы, выпил это с фершалом штоф, ну, и опять хоть снова; в зажору полезай.

– Да ты это к чему сказывал о перцовке-то? – переспросила хозяйка.

– Это я к себе...

– А кто тебя просил? Ты слышь, я рассказываю: на хозяина, мол, страх напал. Говорит: «Мотри, кабы после-то совесть не заклевала». Я вот к чему... А он об зажорах.

– Всякому свое мило, – заметил возчик и улегся на лавке, подостлав тулуп.

– Так я вот об этом-то... Как ты скажешь... Бывалый ведь ты? – обратилась хозяйка к Луке Трофимычу.

– Ну, об этом как тебе говорить. – Лука Трофимыч затруднялся и продолжал смущенно: – Дело точно будет, так сказывать надобно, доброе... Да во всем нужно с рассудком... А пожалуй, и так скажем, что как ежели по человеку...

– Да, да... Без рассудка долго ли до греха. А все ж за благодушного-то судью бога помолят.

– Помолят. Это будь спокойна, хозяйка, – заговорил один из возчиков, подходя к столу. – Да вот как помолят-то, я вам скажу... Ты, что ли, в судьях-то был?

– Я был.

– Ну, так вот... Я, может, тебя за твое-то благодушие во как бы отблагодарил, кабы в силу было... Так вы меня племяншом уважили, что я за кашу не сяду, за вас не помолившись.

– Что ж у тебя племянша-то судили?

– Судили. Так, дело совсем непутящее было. Зашел, вишь ты, братец, он в городе с ребятами в кабак, да и забаловались там за полуштофом. А тут, на грех, и случилась в кабаке-то драка, да кто-то и умри непутевым часом. Всех и забрали. И нашего-то. Год сидел в тюрьме. Совсем мы со старухой, с маткой-то его (сестра мне будет), порешили, что уж пропадать ему за чужое дело... Паренек был исправный, кормилец, один после отца надел справлял...

– Ну, и оправили его, судьи-то?

– Об чем же я-то рассказываю? Совсем уважили. Да вот как, братец: сестра-то это моя, старушка, ходочка какого-то упростила в округе, чтоб он ей всех судей-то на записку выписал, поименно. Вот как. Да с этою бумагой-то летось в Соловки сходила, перед угодниками по свечке за здоровье судей затеплила старушка божья!

– Зачтется это твоей старушке от господ.

– А я об чем же?.. Она вот теперь говорит сыну-то: «Я, бат, вам уж больше, по старости моей, не работница, отпусти ты меня, бат, на гору Афон, – еще помолюсь за новых судей-то...» Так вот я и рассказываю: за благодушного-то судью молитва в народе не пропадет...

– Нет, нет.

– Так ты за хозяина-то будь спокойна.

– Я спокойна...

– Ну, и ладно. А присяжных всегда уважь.

– Мы уважаем. Этого у нас греха нет.

– Ты бы им вот кваску нацедила, и я бы, может, хлебнул кстати.

– Федосья! Нацеди-кось.

– Благодарствуем, хозяйка, – сказали присяжные, вылезая из-за стола.

– Не на чем, родные. Може, наш кусок не пропадет. Ложитесь-ко. Чать, завтра рано тронетесь?

– Порану. К вечеру нам быть бы нужно.

– Слышь, к нам сюда будет суд-то ездить... Хорошо было бы для нас, неизьянно.

– Для нас все одно...

– Все ж ходьбы-то поменьше.

– Это правда... Сапогам облегченье.

Утром поднялись присяжные рано, отдыхали они немного; еще свет не занимался, как они начали справляться. Возчики еще спали. Хозяйка поднялась за перегородкой, зевнула, вышла, почесывая обеими руками под повойником, и зажгла свечу.

– Ну, дай бог счастливо, – заговорила она, позевывая и крестя рот. – Увидите моего-то хозяина, известите, что, мол, мы благополучны.

– Ладно, скажем.

– Щи, мол, у твоей хозяйки хлебали... А останавливались, мол, у нее возчики, скажите.

– Ладно.

– Да известите (вот только что в просоньях-то вспомнила): Палагея, мол, родила... Уж там знаете в кумовья его думали, да уж заочно помянут. Родила, мол, родила... Девочку, мол.

– Скажем. И про Палагею известим. Будь покойна.

Один из возчиков повернулся на лавке, высунул голову из-под полушубка и, вытаращив осовелые глаза, долго смотрел на присяжных, потом спросил:

– Выужно?

– Метет!

– То-то зябко.

И, закутавши голову в полушубок, повернулся к стене.

– Почтенные, – сказал Лука Трофимыч, – вы бы присмотрели... Чтоб после греха не было.

– Ступайте, ступайте со Христом! – кто-то крикнул с полатей. – Мы вас не опасаемся.

– Все же...

– Нету, нету... Зачем грешить на вас! Маетно вам будет идти-то? – спросил голос.

– Сугробно, думать нужно.

– Может, коли порожнем нагоним, подвезем.

– Спасибо.

Присяжные подвязывали мешки.

– Отчего не подвезти? Подвезем, – отозвался кто-то еще. – 0-ох, господи!.. А у тебя, хозяйка, тараканов довольноно.

– Ну, что они тебе, тараканы-то, помешали?

– Я так... к слову... Мне что? Пушай живут. Вдруг кто-то забредил: «Суди-суди... у кобылы... кобылы... хвост украл... Ло-ви его, братцы!» – закричал впросонках возчик и проснулся.

– Ах, чтоб те... где кобыла-то? – спросил он, бестолково водя глазами.

– Лови ее!.. Увели!

– Домовик, чтоб его... Придушил совсем. А навалист он у тебя, хозяйка.

– Прощай, хозяйка... Прощай, дед! Не обессудь за беспокойство. Ай спишь?

– Ну-ну, уж ступайте... Судейщики! С этою вашею модой-то, того гляди, всех перережут да переграбят. Такой разбой кругом пошел, – когда было видано?.. Поблажники!

– Ах, грозен у нас на печи судья проявился! – заметили возчики.

– Федосья, запри за ними калитку-то! – крикнула хозяйка, опять укладываясь за перегородкой.

– Не ходи, незачем... Сам запру, – заворчал старик, спрыгивая с печи прямо в валеные сапоги. – Ноне только за всем своим глазом присмотри – то и цело.

Присяжные выходили один за другим. За калиткой они снова перекрестились и пошли вдоль слободы. Еще не рассветало. По улицам сугробы намело. Ноги вязнут. Где-то вдали светится огонь. У домишка стоят несколько саней; лошади дремлют и вздрагивают. Откуда-то слышатся взвизгивания песни и гармоники.

– Души-и! – вылетает из глубины двора подавленный выклик.

– Стой-ой!.. Ой!.. Вот все здесь – получай!..

– Вина-а! – неистово раздается ответный крик.

– Крра-а-а-ул! Косу вырвал... Па-ад-лец! – выбегает из калитки растрепанная женщина.

– Вот они где... Грехи-то!.. Сохрани господи! – боязливо промолвил Фомушка.

Присяжные удрученно молчали.

III

Деревенский статистик

Опять раскинулась пред нашими пешеходами «трактовая путина» – теперь почти безбрежная, совсем слившаяся под общим снеговым пологом, которым укутала вьюга за ночь и дорогу, и луга, и поля и до которого еще не коснулся ни лапоть, ни вяленый сапог, ни копыто, ни санный полоз. Ровною и живописно однообразною скатертью раскинулась она впереди. Изредка только попадались путникам спасительные, уныло согнувшиеся в одну сторону, заиндевевшие и покрытые белою бахромой елки, вокруг которых наметала вьюга целые валы снега. Все же путина эта была не пустынная, и в другое время весело на ней путнику. То усадьба покажется в стороне за рощей с своими старыми службами, с красными тесовыми крышами, длинным барским домом, с не тронутыми еще новым владельцем или арендатором-купцом «балясами» и колоннами. То выселок выбежит на крутой берег плещущейся в овраге речки тремя-четырьмя новыми большими избами, мельницей, пасекой – это владения поселившихся на «своих» пустошах братьев-собственников, мирно живущих, пока ходок-аблакат не занесет к ним страшного слова «раздел» и не «натравит» их на бесконечную тяжбу, в которой каждый будет доказывать права свои «по стариковой памяти» и пока в этой «травле» не погибнет выселок, выпустив на вольный свет безземельных голяков и обогатив «за труды и юридические познания» ходока-аблакаты и стакнувшегося с ним «большака-брата». То монастырь блеснет белыми стенами и золотыми главами среди необозримой поймы и заповедных лугов. То вдруг за лесом, на спуске к полной реке, усеянной правильными площадками бесчисленных плотов, где, бывало, разбиты были английские скверы и парки и с утра до поздней ночи слышались звуки охотничьих рогов, вдруг выдвинется чудище, длинное и высокое, шумящее и гудящее тысячами веретен, смотрящее сотнями мигающих в сумерки глаз...

Деревенька высыпала пред присяжными по обе стороны «трактовой путины» десятками двумя-тремя убогих изб. После вьюги еще печальнее смотрят они: какая-то пустота, заброшенность царит вокруг них. Овины, клетки и риги развалились, клочками торчит на одних растрепанная ночной вьюгой солома, другие наполовину растасканы на дрова; «крестьянский двор» сглаживается, пустеет и оголяет сиротливо стоящие без хозяйственных служб избы.

Прошли ее наши путники в конец – никого не видали, ни у дворов, ни из изб голосов не слышно, только старуха глухая у одних ворот стояла. На конце уже деревни старика заметили: он колот на дрова старую, изгрызанную и прогнившую колоду. Старик был высокий, сгорбленный, сухой, с длинными, высохшими и цепкими руками; из-за большой седой бороды и подстриженных усов показывался беззубый рот; лысая голова изборождена была ямами и шишками; сморщившаяся кожа старческими глубокими складками, словно шрамами, покрывала щеки и лоб; из-под длинных клочковатых седых бровей смотрели слезящиеся, но умные и зоркие глаза. Дырявый полушубок едва держался на его костлявых плечах; из-под него виднелась впалая, волосатая, тяжело, точно кузнечные мехи, подымавшаяся и ниспадавшая грудь.

– Видно, у вас, дедушка, без поселенцев деревня-то стоит? – спросили его присяжные. – Ты в досмотрщики, что ль, к пустым избам приставлен?

– Почитай что так, – неторопливо отвечал старик, вздохнув всею грудью, погладив ладонью лысину и надевая шапку. – Только нам, старым да грудным, и осталось... Ноне у нас вон где поселенье-то развеселое. Невесело в своих-то отцовских избах! – показал старик по направлению к фабрике.

– Где весело!.. Вишь, она, деревенька-то родная, как замухрилась...

– Замухряешь! Ноне мы за собой не смотрим... Ноне мы на купцов работники... А вы чьи будете?

– Мы пеньковские. В округу чередными пробираемся...

- Ну-у! Наших, поди, судить будете?
- Разве от вас кто есть?
- Еще как есть-то!.. Много от нас к суду идет.
- Что так?

– Народ от закона отбился... в тумане ходит. Мужья жен не знают, жены мужей покидали. Сватовства уже и не слыхано: сватов ровно из веков в заводе не было. Девки рожают без стыда, что бабы. Робят перемешали: не разберут, кой законный, кой нет. Недавно вот тут, на ильинки, баба родила, а муж-то и не признал. «Не мой, – говорит, – это машинный (фабричный, значит), из-под машины рожден...» – да в беспамятстве и об угол младенца! – отчетливо и не торопясь излагал старик пред присяжными народную уголовную летопись.

– Экие дела скорбные! – заметил Фомушка.

– Кои в прорубь таскают: из года в год как пить дают по утопленнику... Жена мужа летось, в троицу, яичницей с мышьяком накормила – это в селе Семенках. В Болтушках мужик, на покров, бабу зашиб, – вишь, с приказчиком заприметил. На капельника дядя Петр на вожжах повесился из-за невестки... Вот какое место греха народного насчитал я вам, старый!

– И ты все это, дед, помнишь? – удивлялся Недоуздок точности, с которою высчитывал старик «несчастные случаи».

– Наказал господь памятью на такое дело! Сижу вот другой раз да и считаю: сколько за лето, сколько за зиму, сколько за тот год, сколько за другой господь за грехи несчастных дел на наши Палестины напускает... Все помню, как на ладони все это предо мной видится... Во младенчестве, должно, согрешил пред господом, что наказал он меня такою памятью... За всю мою жизнь все злое, недоброе, непутное, что только на кару господь за грехи нам, мужикам, посылает, – все вижу год в год, день в день...

– А как тебя звать, сверстничек? Чтобы неравно нам на судьбище, вспоминая тебя, страх божий не забыть! – спросил благочестиво Фомушка.

– Архип Сук. Суком, друг, меня прозывают... Плохо, братцы, дело в нашей Палестине! Судите строго-праведно, други мои! Может, и поослабнет грех-то...

– Всех бог рассудит! – оветили присяжные. – Спаси тебя господь...

– Вас спаси господи.

Старик побряхтел, посмотрел им вслед и снова начал раскалывать дубовую колоду.

– То-то здесь горе над людьми лютует! – далеко уже отойдя от деревеньки, заметил Лука Трофимыч.

– То ли уж народ глуп, то ли привык он на мамону чужую работать! – недоумевал как будто про себя Недоуздок.

– Поддержки народу нет, – порешил Фомушка, – что малый ребенок он... Как ты его осудишь?

Толковали присяжные, казалось, хладнокровно, а между тем личность Архипа Сука, этого безвестного статистика народного «греха и несчастья», подействовала сильно на них. С каждым шагом к округе, с каждой встречей все сильнее начинали они ощущать, хотя смутно, свою близость к этому народному «греху и несчастью», свою нравственную обязанность к нему. Так называемые «культурные» люди не могут иметь даже смутного ощущения этой близости. Для них народный «грех, несчастье» есть не более как «абстрактная идея» права (выражаясь их словами); для народа – это «боль человека с плотью и кровью». Фомушка, вспоминая Архипа, думал, что ежели осудить человека «греха и несчастья», то как бы не перевысить меру господня наказания и как бы тому человеку больнее не стало, чем по совести следует. В то время как по понятиям одних «грех» начинается с момента преступного акта и требует наказания, – для крестьянина он уже сам по себе есть часть «кары и несчастья», начало взыскания карающего бога за одному ему ведомые, когда-то совершенные поступки.

IV «Божий помещик»

Чем дальше подвигались присяжные по многоезжему торговому тракту, чем чаще попадались им на пути различные селения, тем чаще приходилось снимать шапки, раскланиваться с встречными и отвечать на одни и те же вопросы всегда любознательного относительно своего брата селянина.

– Чьи будете? – спрашивает селянин.

– Чередовые, – откликаются, проходя, присяжные.

И спрашивающий еще долго смотрит, засунув одну руку в карман полушубка, а другую за пазуху, вслед уходящим. Другие, не желая упустить случая чем-нибудь разогнать зимнюю скуку, подшучивали над присяжными.

– Эй, пешковые! – окликнули присяжных водном селе, и вслед за этим, заложив руки в карманы, стали, не торопясь, подвигаться к ним три-четыре селянина. По их походке, по оклику присяжные хорошо знали, что почтенным селянам желательно «поточить зубы»;

– Доброго здоровья! – приветствовали поселяне, слегка приподнимая высокие, в форме шампанских пробок, шапки, которые любят носить ямщики, а за ними и все прочие обитатели почтовых трактов.

– Спасибо.

– Присяжные, что ли, будете?

– Они будем.

– Ну, братцы, палками бы нужно вам у нас запастись.

– Что так?

– Для вас тут у нас засада есть.

– Нас не обидят.

– Вас-то и обидят.

– Чего с нас взять... Разве шалят у вас?

– Шалит-то, братцы, у нас все один – Аника-воин. Помещик будет... Вот с самой «воли» как он всем нам войну объявил, даром что мы казенные были.

– С чего ж это он у вас?

– А вот как положение вышло... Барин он был хороший, легкий барин; мужики у него на оброке были. Машины все землепашные покупал; привезут, он соберет соседей, мужиков, начнет им показывать разные действия с машинами-то. И против воли не был: «Я, – говорит, – против мужицкой воли не стою, только всем зараз волю никак дать не можно: будет, пишут, буйство, грабеж». А тут прослышал, что всем воля, и сполуумствовал... Усадьбу свою – вам по дороге будет – принял тыном обносить, ворот наделал, застав настроил и объезды стал делать. Ребятишек нарочно нанял, старых лакеев, да верхами, с оружием, что твои казаки, и рыщут вокруг усадьбы... Наряд себе такой приспособил: кафтанчик опушенный, с красными кармашками, шапку-черкеску, через плечо ружье, саблю, пистолетик... Чудесно.

– Для чего же нам палки-то брать?

– Чего, братцы, шутит-шутит, да инно, как очень разгорится, и до беды доведет... Ско-тину около рожи настигнут – загонят; баб али девок с грибами, с ягодами заприметят – всех по амбарам позапирают; на мужиков, где около своего тына наедут, – сейчас обыск; трубки найдут, спички, топоры, ножи – все отберут, а потом все это и посылает к мировому целым этапом, при бумаге, как бы с поличным: спички – это у него поджог, грибы – это захват. Только ни мировой, ни исправник ему не верят. Уговаривали было да так и бросили: умрет-де скоро...

– Ну, а мы-то что же в вашей войне, при чем?

– А это, почтенные, вот какое дело. Сын у него, барчонок, в городе обучался, только, должно, скучно стало. Приехал и говорит: «Я, – говорит, – тятенька, не хочу учиться, довольно учен – все понимаю; я в аблакаты пойду...» – «Это помещик-то! – крикнул отец, – с купцами якшаться?.. Нет тебе ни моего благословения, ни денег! Ступай!» Ну, сынок сейчас себе шапку с красным околышем купил да и пошел по торговым селам с купцами чертить... Вскорости фальшивых бумаг на купцов наделал... Тут его под присяжный суд – да в Сибирь... Инда взревел отец-то: «Это, – говорит, – моего-то сына мои же мужики судили!» Так вот с тех пор вам с ним и опасно встречаться... Мы еще туда-сюда с ним, ну, а вы...

– Ничего. Нам этот воин не страшен, – сказали пеньковцы, расставаясь с поселянами.

Едва прошли путники две версты, как стала показываться вблизи дороги усадьба, с ого-роженными полями, с тыном из заостренных здоровых кольев около двора, с разными шлагбаумами, веревками, мачтами. На крыше дома подымался гигантский флюгер в образе русского петуха с выщипанными перьями; петух этот лениво повертывался на шпиге и визжал самым жалобным образом. За тыном слышалась тревога; раздавались голоса. Кто-то суеился неимоверно и выкрикивал всеми легкими: «Палашка, замыкай! По местам! Заставы за-апри-и!.. Сергей!.. На пункты!.. Флоров!.. Отпусти!.. Есаул Клоп!.. Снаряжай!..»

– Папа, папа! – прерывал торопливую команду свежий, звонкий, подхватываемый ветром женский голос. – Да куда вы?.. Где вы волков видите?

– Вижу, матушка, вижу... Отлично вижу...

– Да что вы видите?.. И нет никаких вовсе...

– Вижу, Раичка, вижу... ступай в комнату, душенька, – настудишься. За мной! – скомандовал вдруг кто-то.

– Ах, боже мой! Папа! Оставьте!

Ворота растворились. На рыжей высокой английской кляче выехал, бодрясь, седенький помещик, в черкесском костюме; за ним два старика в полушубках с прорванной шкурой и дырявых валеных сапогах – тоже верхами. Один держал на своре пару страшно худых собак. Два мальчонка, путаясь в глубоком снеге, бежали «на пункты».

– Стой в седле! Подсматривай! – скомандовал седенький старичок в черкеске и сам, гарцуя, поскакал за путниками и стал описывать около них круги, увязая в сугробах и геройски выскакивая из них. Чистокровная английская кляча пыхтела, фыркала и начинала пускать пар под усердным седоком. Пеньковцы продолжали идти молча. Пропустив их несколько за усадьбу, помещик круто повернул к своему шлагбауму.

– Вон он! Вон, батюшка, серый! – крикнул один из рыцарей в валеных сапогах, с длинною седою бородой. – Доезжайте его, сударь!

– Воззрись! – закричал седенький помещик. – Спускай в мою голову! Атту его-го-го-о-о! И за этим раздался выстрел на воздух.

Собаки бросились за волком, которого они не видали; пробежав несколько сажень, они сочли за благо остановиться и подняли вой. Пеньковцы испуганно обернулись и невдалеке от себя увидели седого Дон Кихота, схватившегося обеими руками за живот.

– Ха-ха-ха! – надрылся он от добродушного хохота, кашляя и захлебываясь и обратив к ним свое раскрасневшееся маленькое лицо, по которому текли из помутившихся глаз непослушные слезы. – Оша-але-е-ели, милые!.. Я ва-ас!.. Ха-ха-ха! – ребячески восторженно выкрикивал он, грозясь своим маленьким кулачком.

– Божьим помещиком стал барин-то! – посмеивались присяжные, ступая по сугробистой дороге и вслушиваясь в долетавший за ними по ветру неудержимый старческий смех.

V Проходимцы

Между тем погода начинала снова разыгрываться; выюга, ослабевшая немного, поднялась с удвоенною силой; сбоку надвигался сумрак; снег повалил хлопьями. То сзади, то с боков вдруг налетит облако снега, оболочет кругом, и дальше нельзя ступить шагу; захватывает дух, ноги заплетаются и тонут.

– Ну, братцы, божья воля, а нужно куда ни то укрыться. Только понапрасну изморимся, – говорили путники.

– Где укроешься!

– А вон, вишь, будто темнеет что в стороне... И собаки, слышно, лают.

Ветер рванул, порывисто пронесся с снежным облаком в сторону и вдруг стих. Путники могли разобрать в стороне дороги строения. Они повернули к ним уже напрямиком, через сугробы, ощупью стали пробираться к воротам; ветер и снег заволокли снова все. Присяжные стукнули в калитку. Неистовый лай и вой здоровых псов ответил им, но никто не выходил. Они стукнули сильнее, – сильнее заливались собаки. Долго пришлось слушать присяжным этот лай и вой, сопровождаемый свистом и визгом ветра; около них образовался сугроб; ноги коченели.

Наконец раздался за воротами здоровый горластый женский оклик, относимый ветром то в одну, то в другую сторону.

– Вы, что ли, это, Парамон Петрович? – спрашивал голос, силясь перекричать и собак, и выюгу. – И не ходите лучше! Запили, батюшка, у нас... Говорит: лучше мне этот аблакат в экий час на глаза не показывайся, – за себя не отвечаю.

– Мы бы укрыться, хозяйка, укрыться-я! – насколько возможно подняв голоса, в пятый раз крикнули присяжные.

– Кто такие еще?

– Прохожие, милая... В округу пробираемся.

– Нету, нету... Проходите. Здесь ноне не пускают. Купцы живут. Купцы поселились.

– Переобуться бы только нам.

– Да кто такие?

– Чередные мы. Присяжные будем.

– Ахти, батюшки! Да мы сами от судов в этих пустынях отсиживаемся. Сами с этими присяжными в беду попали. Из города нарочно в тишину укрылись... Что?

– Ваше дело, родная, ваше дело.

– Нету, нету. Проходите. У нас этих заведений нет. Мы келейно живем... купцы мы. А вот тут недалечко помещики живут, подальше. Аблакаты, по вашей части будут...

Присяжные молча стали выбираться опять на дорогу, а горластый голос, словно разрываемый ветром, еще невнятно, клочками доносился до них вместе с непрерывавшим собачьим лаем.

Скоро показалось и еще строение. На самом юру торчал новенький пятиоконный домик, без всякого признака хозяйственных служб, как будто он исключительно построен для наблюдений над открытыми для него со всех сторон окрестностями. Ветер угрожающе то насыпал вокруг него груды снега, то вновь разбрасывал их и ходуном охаживал его со всех сторон.

На стук присяжных полуотворилась калитка, и показалась седая, развеваемая ветром борода, прикрывавшая открытую, впалую, медно-красную грудь.

– Ах, болезные, – проговорил старик, – эх неволя-то вас гонит в экую пору. По делам, что ли, к нашему-то? Переждали бы хоть метелицу-то!

– Нету, дедушка. Укрыться бы нам. Путники мы. В округу пробираемся.

– О? Экое дело! Уж и не знаю. Входите, може, пустит наш-то. Временем он ничего...

Присяжные несмело вошли за стариком в холодную переднюю и остановились в дверях, переминаясь на одном месте. Скоро через сени, с другой половины, вошел средних лет мужчина с растрепанными, с проседью, баками, кудрявившимися на красных вздувшихся щеках, как будто он постоянно держал за ними по куску пирога; маленькие глазки, с загноившимися ресницами и подпухшими веками, хотя и слезились, но старались метать серьезные взгляды. Он был в потасканном татарском халате, подпоясанном старою подтяжкой, с трубкой в руках.

– По какому делу? – спросил он. – Ведь я объявил по волостным правлениям, что по понедельникам ходатайств не принимаю.

– Мы, ваше бл-дие, неместные.

– Все равно... Я всем готов служить своим... – хозяин задумался, затянулся и выпустил вместе с дымом:– юридическим образованием.

– Мы, батюшка, как по-христиански... Укрыться просились... Так вот старичок-то позволил. Думаем, идти в вашу божью волю – как бы греха не случилось...

– Ну, это другое дело. Грейтесь, грейтесь. Я не прячусь ото всех, как вон эта шельма-купчина. Бочонок! Сорокоуша! Засел за псами и сидит, никого не пускает. Не пустил ведь?

– Не пускает, батюшка...

– Ну, я знаю... Подлец! Дать доверенность – и вдруг: «Не принимаю». Рюмки водки шельме жалко... адвокату своему! Чьи будете?

Присяжные сказали.

– Присяжные? Каково! – удивился помещик и быстро ушел на другую половину, однако ж скоро вернулся, но уже закусывая что-то соленым огурцом. Присяжные все еще боялись расположиться как нужно.

– Переобуться позвольте, ваше бл-дие.

– Переобуться? Можно, можно! – говорил он равнодушно, прожевывая огурец. – А повестки есть?

– При нас.

– Покажи.

Он протянул руку. Лука Трофимыч засуетился, полез за пазуху и, отвернувшись в сторону, вытащил из кожаного мешка повестки.

– Хорошо, хорошо... Вижу, что в порядке.

Помещик стоял посреди комнаты, попыхивал в трубку и хладнокровно обводил их глазами. Присяжные стали разуваться. Помещик растопырил ноги и поместился против них.

– Гм... обзоры! – говорил помещик, попыхивая из трубки.

Мужики снимали лапти и сапоги.

– Гм... лапти! – продолжал он.

Мужики развешивали тряпки.

– Гм... онучи.

Мужикам становилось неловко. Но помещик вдруг повернулся и снова скрылся за сенцы.

– А он, нужно так полагать, прожженный! Он в лаптях-то наших теперь, может, хлеб себе усматривает.

– Чего дивить! И в лаптях, братцы, они, эти ходоки-то, корм себе провидят.

Присяжные, распоясавшись, сидели, забившись в угол, и, поворачившись к стене, закусывали.

Вошел старик, отворявший им калитку, седой, в больших валеных белых сапогах и рваном полушубке; кряхтя и сгорбившись, уселся он около двери, на краешек скамьи, держась за нее старческими трясущимися руками.

– Чьи, старичок, будете с хозяином-то? – спросили присяжные.

– Проходимцы, – сердито отвечал старик.

– Звание хорошее, – заметил Недоуздок. – Прыток он очень!

– Кто ноне не прыток! Нас, дураков, много. Насулят всего и званиев разных пожалуют, только горбы подставляй... Горбы-то у нас здоровые. Прыгай да прыгай, осаживайся, как тебе будет лучше... Мы готовы завсегда – повезем...

– А как он у вас прозывается?

– Парамошкой прозывают... По шерсти и кличка.

– Ничего, ласково прозван.

– Он не обидчив. Вот купца-соседа (благоприятель нашему-то) и хуже прозвали, да ничего. Даже доволен.

– За что ж это их?

– А за хорошие дела. Мало им стало у мужиков хлеб на корню скупать, так они кабачков настроили, а около больших волостей да фабрик притончики веселые завели... Восемьдесят лет прожил, а в таких притонах в нашей стороне никто не нуждался.

Речь старика прервал пришедший гость.

– Пути сообщения... нну! «Пожалуйте в гласные...» Да как же тут, когда ежели на мосту зимой провалился?.. Одна лошаденка – и та ногу повредила! – говорил в волнении, скидая с себя овчинную шубу, отряхаясь, отплевываясь, отфыркиваясь, снимая с бороды сосульки, низенький, толстенький, пузатенький человек, в длинном кафтане, подпоясанном широким поясом, и в шапке с длинными ушами. – Парамон Петрович у себя?

– Обедает.

– Ну, ладно... А ты что ж, братец, сидишь?.. Л еще старик, умирать собираешься! Нет чтобы пойти да посмотреть: как, мол, он приехал, где у него лошадь-то? Нет, в вас этого послушания не ищи... На-ка, поди прикрой ее кошмой...

Старик ворча вышел, а приезжий не переставал суетиться; ходил он по комнате скоро, вприпрыжку, бегал глазами с предмета на предмет, морщился, гримасничал и то и дело что-нибудь переворачивал, перекладывал, рылся за пазухой.

– Умирать пора, в гроб смотрит, а об церкви не подумает. Заржавела душа-то... 0-ох, господи! Не бойсь, это не купцы!.. Чего? А вы кто будете? Чьи? – спрашивал он присяжных как будто мимоходом, всецело занятый тем, что у него в длинных больших карманах и за пазухой.

– Присяжные мы.

– Что ж не кланяетесь? Отвалятся головы-то?.. Забывать стали? Гордыня обуяла?..

– Да ведь мы... признаться... как узнаешь? – сказали, подымаясь, присяжные.

– По одеждам видно, что не мужик... Костюм на что-нибудь дан! Много в вас этой своей-обычности... Вы бы вот с господ купцов примеры-то брали: как они – с уважением, благочестием, доброхотством... Даром, что капиталы имеют... Зато и награждены... А вы что? Лапотники, а смирения ни на грош!.. Чего?

– Просим, мол, извинить, – проговорил Недоуздок. – Не всмотрелись сразу...

– То-то! Присяжные! А что такое присяга? А? А ежели церковнослужитель навозу на поле повозить попросит, так двери на запор, оглобли воротить? Чего? А как восьмая заповедь читается?

– Мы, батюшка, по пальцам-то не происходили... Учил это нас, признаться, писарь, да думали, чего, мол, тут по пальцам-то высчитывать!

– Все вы такие... У вас учителя-то без сапог ходят, сами навоз возят... Чего? А где об церкви радение? К духовному сану почтение? Сначала бы вот об этом... Были ли на духу-то? Вот бы что заставлять нужно... «Увещавайте! На то вы и учителя!» Легко говорить! А где поддержка?

– А! Это вы, Кузьма Демьяныч Бессребренник! – прожевывая остаток обеда, приветствовал приезжего помещик. – Должно быть, дело не хвали... А?.. Ежели в эдакое время не позадумались навестить...

– Душа-с скорбит, Парамон Петрович! Вот все с ихнею братией... Житья нет нынче... Просто звери стали!

– Они нынче судьи... Ну, что? Идете? – обратился Парамоша к присяжным. – Пора, пора... Отдохнули, обогрелись у меня...

– Много благодарствуем... Отошли будто немного...

– То-то... Добрых людей не забывайте... Помещик Парамон Петрович Перчиков – всякий знает! Дел не будет ли? О разделах, о побитии...

– Будем помнить.

– У односельцев не будет ли? Посылайте... Вот, мол, по дороге в округу... На самом, мол, пути адвокат живет, Перчиков... К нему, мол, толкнитесь...

– Уважительный барин! – прибавил Бессребренник, доставая из мешка за ногу замороженного поросенка.

– Душа, мол, человек... И недорого берет, как по крестьянству сподручнее... Даже под расписку... Берет зерном, крупой...

– Слушаем-с, – отвечал степенно и «обстоятельно» Лука Трофимыч.

– Яйца, кур, гусей...

– Слушаем-с.

– Порсят... Все, мол, берет... Потому – хозяйством заводится...

– А каков поросенок-то, Парамон Петрович! Словно малый овен, – крикнул Бессребренник, тютюшкая и подкидывая на руках поросенка. – Где тетенька-с?... Деревенский гостинчик...

Присяжные вышли из усадьбы помещика Парамоши и стали пробираться через глубокие сугробы к трактовой путине.

VI

Лесная сила

Лес показался; сначала по обе стороны шла порубь, едва теперь заметная по выскочившим кое-где из-под общего снегового покрова пням да сосновым, редко разбросанным подросткам, уныло согнувшимся под напором разгульного ветра. В лесу погода стихла. Вековые сосны непроглядною и мощно-угрюмою стеной стали на пути выюги, и она, бессильно злясь и негодуя, только изредка ворвется в просеку, просвистит с одного конца до другого, тряхнет побелевшую лесную шапку и снова стихнет. Мирно стоят гиганты-деревья, опустив вниз свои отяжелевшие от снега ветви. И какая несметная рать стоит здесь этих гигантов и угрюмо ждет, когда придет какая-то сила, повалит их и уложит в стройные ряды поленниц. А уж эта сила пришла: то с одной, то с другой стороны мелькают широкие подсеки, или усеянные выкорчеванными громадными корнями, или уставленные правильными кубами напиленных дров, бревен, досок... На небольших луговинах, защищенных гигантскою стеной от злой непогоды, молодая поросль и подростки прячутся от лютых морозов под толстою, мягкою шубой снега и рассыпаются кучками белоснежных пирамидок. Тихо. В лесу всякий звук слышится чутче; птица шархнула о сучок, осыпала с него снег, крикнула и, взмахнув крыльями, пронеслась вверх; зверь где-то захрустел по бурелому; вбок от дороги, к поруби, прошел волчий след.

– Стой, братцы! – сказал, приостановившись, Недоуздок.

Присяжные разом остановились.

– Чего пугаешь? И так жутко.

– Слышь: голосит!

– Это леший.

– Какой тут леший? И вся баба заливается.

Присяжные сбились в кучу.

– Ай то, братцы... Уйдем от греха, – продолжал Бычков. – Далеко где-то. Место совсем пустое!

Ветер явственно донес плач.

– Где далеко? Совсем близко. Нам бы грех, братцы, на такое дело идучи, от горя бежать, – заметил Фомушка.

– Где ты его, это горе-то, здесь по лесу отыщешь? Вишь вон, то здесь оно огласит себя, то с другого боку... Как ты его по такому месту настигнешь? – сомневался Лука.

Но вдруг вопль раздался сзади них; все обернулись. Из лесу выходил высокий, в нагольном тулупе, опоясанном широким ремнем, в больших валеных сапогах, в мохнатой шапке лесник, у которого видны были только большие замерзлые усы да сросшиеся длинноволосые, выступавшие из-под шапки брови. Он держал в одной руке дубину, другую вел под уздцы лошаденку, запряженную в дровни. За дровнями шла баба, неся в руках топор, и навзрыд причитывала. В дровнях лежал связанный кушаком мужик.

– Что за люди? Чего нужно в экую пору в лесу? – окликнул присяжных полесовщик таким окриком, что и сам лес будто дрогнул вместе с присяжными.

– Мы, почтенный, своею дорогой.

– А куда путь? – спросил он, останавливаясь против них и вытирая замерзлые усы. – Экая погодка!..

– В округу... в черед. – О!

Лесник прислонил к лошади дубину, скинул рукавицы и стал набивать трубку, вытащив из-за пазухи кисет.

– Вишь ты, тетка, какое твоему-то счастье! – обратился он к бабе. – Не успел украсть, а уж на судей напал. Другие по годам экое счастье в острогах ждут... Моли бога.

– Зверь ты, Федос, зверь стал! – завывала баба.

В дровнях застонал мужик; собачонка лесника, присевшая у края дороги, подняв озябшую лапу, подвыла им обоим.

– Должно, впервой? – спросили присяжные.

– Впервой. Не бывал еще в переделах-то. Что заяц косой – сам на ружье лезет... Должно, холодно им с бабой стало, погреться захотели... Так что ж, чередные! Судите, что ли, нас с ним... Ха-ха-ха! Судейщики! – предлагал лесник, раскуривая трубку.

– А мы, дядя Федос, пожалуй бы, и рассудили, – сказал Недоуздок.

– Вишь ты! Ну-ко как?.. Суди, суди!..

– Да оправить бы мужика надо... Вон она, зима-то, какая... В кулак-то не надышишься... А ты ему ребра-то, должно, знатно пощупал.

– Ничего. На медведя ходил.

– Приметно... Так уж, кажись бы, и довольно.

– Ха-ха! Вишь ты... И в самом деле судейщики!.. А ты думаешь, вам за это спасибо скажут... а? Поблажникам-то?

– За спасибо-то не угоняешься... А ты вот что подумай, – заговорил Фомушка, – добро-то тебе здесь, по лесной жизни, не часто, чай, делать приводится? А нам на старости наших лет с тобой, в гроб-то смотрячи, добро-то бы не след упускать... И так от него, от лесу-то, душа черствеет, так не дело бы тебе еще на себя зверское-то обличив напущать...

– Поблажники и есть... Свой брат!

– Ну, скажи-ка ты нам, судьям, как – мы его осудим, обличие-то твое вспоминаячи, строгий воин?.. Нну? – наступал на него Фомушка.

– Мы в это не входим.

– Ежели ты не входишь, так ты хошь образ-то зверский сокрой. Да сходи ты в божью церковь, – все грознее говорил Фомушка, – да возьми ты к себе в хижину-то ребячью душу, каких много по нашим мостам сиротливыми бродит. Она, душа-то ребячья, сведет с тебя узоры-то зверские, что мягкий воск растает сердце твое от нее... Верь, по себе знаю! Был и я лесником. Обнял это меня лес, охватил, не вынесла Душа, руки хотел на себя наложить... И случись тут старуха странная; говорит, возьми, Фома, младенца на вскармление, – лес над тобою силу потеряет, тоска у тебя с души сойдет, от ребячьего глаза рукой твою тугу снимет... Сиротинка у нас на селе был, – взял...

– Погоди, старик! – прервал Фомушку лесник. – Есть и у меня, есть... Твое слово в руку: взял я ноне Федорку свою на колени, а она, глупая, мне: «Тятка, – говорит, – ты страшный... Боюсь я тебя... У тебя борода колючая отросла, а брови ровно осока торчат...» – «Ах ты, глупыш, – говорю, – да ведь у тебя тятка-то кто? Солдат тятка-то?.. Так разве можно ему другому быть?.. Ведь его двадцать пять лет в этом звании производили! А? Видал ли нашивки-то?.. Двадцать пять лет к этому-то обличию приспособляли! Зато он и лесник! Вишь, ему какую махину на охрану вверили! Глупыш ты, – говорю, – неразумный...» – «Нет, – говорит, – ты ровно лесовик стал... Молчишь нынче все: мало говоришь, сказки говорить разучился... Боязно мне с тобой! В деревню убегу!» – «Ах ты, – говорю, – порченный! Вишь, что сказал: лесовик!.. Тятка-то? Вот я тебя лозой!» Дал ей шлепка, думаю: бабы наболтали девчонке! А вот и ты, старый, не умнее Федорки моей сказываешь!

– Верь, милый человек, верь! Может, у тебя и сойдет с лица узор-то звериный... И улыбнется на тебя младенец...

– Али больно уж я на зверя-то смахиваю? – спросил старый солдат, дрогнув левым усом и бровями и сияясь улыбнуться.

– Недолго, друг, оно, – продолжал убеждать Фомушка, заприметив, что по лицу солдата прошла какая-то дрожь. – Лес-то – он ведь сила, он человеком скорее обладает, чем ты им.

По себе знаю. Большая в нем сила! И стоит она, эта нечисть, и досматривает, как бы душу христианскую от доброго дела отвести...

Фомушка так и впился своими слезящимися маленькими глазками в «обличив» лесника. Лесник снял шапку и рукавицу и стал чесать затылок.

– Х-ха-ха! – разразился он на весь лес, который с разных сторон отозвался грохотом на его хохот. – Зверское обличив, слышь, у человека стало! Полгода не прошло! Ай да Федорка! Надаю я тебе шелепов вдоволь, порченная! Сними-ка с своего кушак-то! – обратился он к бабе.

Баба опять зарыдала и, припав к лежавшему мужику, стала развязывать дрожащими руками кушак.

– Ну, ступайте своею дорогой! – сурово прикрикнул лесник присяжным. – Судите там, кто пойман. А уж этого рассудили...

– Это, милый, не наш суд, – твоя душа судила! – ответил Фомушка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.